

История, в которой что-то происходит
автор: Янос Ли Рувер

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

2019

18+

Янос Ли Рувер

История, в которой что-то происходит

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50843566

SelfPub; 2022

ISBN 978-5-532-96681-9

Аннотация

Что есть творческий поиск? Янос успешно продает две книги и не может написать третью. Он копается в людях, в ситуациях, в прошлом, в первой любви, в своей голове, в "интересном" – с переменным успехом. Он пытается сочинить историю, в которой что-то происходит.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

0. Контекст	4
1. О ворохе сотворённом	8
2. Апартаменты	10
3. Очистительная станция	13
4. Агент по всем делам	19
5. Шот	23
6. Пе	32
7. Первый	35
8. Пробег	39
9. Ток-шоу	47
10. Открывающая сцена	54
11. Я открываю глаза	64
12. Я, я, я	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Янос Рувер

История, в которой что-то происходит

0. Контекст

Труп лежит на кухне.

Лицо будто задрапировано кровью, уже подсохшей, тёмно-багровой. Кровь под трупом, на кафельном полу, сюрреалистичным пятном, как из карточек теста Роршаха, вызывает ассоциацию с видом раскрытых крыльев.

Я нагибаюсь над телом и пытаюсь понять, кто это. Но всё заволочло тёмными завихрениями в движении, как если яростно зачёркивают чёрным карандашом неудобный рисунок до полной его неузнаваемости.

Это происходит в реальном времени: чем дольше я смотрю, тем больше штрихов поверх.

Я понимаю только одно – это женщина. Беременная женщина с набухшей грудью, мощными голыми бёдрами и раздутыми руками в язвах.

Она вдруг поднимает руку и чертит в воздухе знак.

Она вдруг начинает петь, но получается лишь хрип.

Штрихи исчезают, я чётко вижу кто это.

Она смотрит на меня и тепло улыбается.

Я сажусь на пол и закрываю лицо руками. В темноте, наедине с самим собой мне мерещатся звуки расстроенной игры на скрипке. Мне слышатся искажённые звонки тысяч телефонов. Мне кажется, что в дверь громко стучат.

Я убираю руки.

Её труп лежит на кухне.

В том же положении, что и лежал. С опухшими конечностями, как у утопленника. С огромным вздутым животом, в котором шевелится, захлебываясь смертью, нерождённый ребёнок. Многочисленные порезы на её белой коже. Огнестрельное ранение – обгорелое пятно вокруг отверстия под прикрытым глазом. Запах формалина, запах пороха смешанный с вонью металла, запах огня, опалённого мяса.

На кухню заходит человек с синими глазами. Он пытается что-то у меня узнать. Тормозит меня и спрашивает, спрашивает, спрашивает. Я вяло отталкиваю его. Махнув на меня, он поворачивается ко мне спиной.

Мне дико больно в области затылка. Кромешная боль застилает всё вокруг, погружая в белый шум. Я падаю на пол, хватаясь за голову. Всё – лишь бы только эта боль отпустила меня. Мои руки оскальзываются по холодному кафелю – я касаюсь липкой крови. Я ползу на четвереньках под тонкий громкий свист. Мне хочется уползти подальше, но ничего не выходит. Я кричу, выныривая из небытия, и открываю глаза.

Воображаемый голос шепчет мне: «И ребёнок её во чре-

ве... Чистый... Мёртв...».

Человек с синими глазами умирает, упав на её труп. На его черепе сзади – бездонная дыра. Его предсмертные конвульсии напоминают оргазм. Он дёргается, трогая её мертвое тело, задирая ей платье, сжимая её бёдра, обливая её свежей кровью, пока не замирает.

Ублюдок вонючий.

Я навожу порядок. Если меня обделили смертью и смыслом, то остается сделать хотя бы это: навести порядок.

Мне кажется, *они* смотрят за мной в окна. И поэтому – я стараюсь всё сделать наиболее художественным способом: не торопясь, манерно, но как можно более лаконично и информативно.

Перепечатав часть текста, Янос взглянул на получившееся.

Он снял очки, положил их на стол. Встал со стула, прошёл широкими шагами из комнаты в комнату. Постоял у большой синей доски с кучей развешанных листов с таблицами. Вытащил телефон. Перечитал сообщение от Эвы.

«Не жалею об этом».

Положил телефон обратно в карман.

Подошёл к столу, взял очки, рукавом рубашки оттер со стекла свой отпечаток, разглядывая его на свет. Сел на стул.

Перепечатал текст снова. Взглянул на получившееся.

Перепечатал снова.

Снова.

И снова.

1. О ворохе сотворённом

«Если первая книга – это поиск троп в болотах лукавства перед читателем, то вторая – это уверенная поступь по асфальтированному покрытию прямо к сердцам уже завоёванных читателей...» (Эльдар Светов, главный редактор).

«Я думаю, продемонстрированный нам блестящий взлёт – не что иное, как удача. В одном месте и в одно время столкнулись те обстоятельства и люди, что привели к странному успеху. По крайней мере – первая книга точно. А вторая – мастерство на лаврах первых плодов» (Роб Рубинштейн, режиссёр).

«Напишу ли я что-то ещё? Наверняка, да. В планах есть несколько интересующих меня, и, надеюсь, остальных, тем» (Янос Рувер).

«Это нельзя назвать одной голой удачей. Это кропотливый труд, как писателя, так и издателей. Маркетинг, интеграция в другие сферы, мерчендайз, переводчики, редакторы, рядовые ритейлеры, оптовики. Многие вовлечены в этот процесс. Безусловно, на начальном этапе нам повезло со многим: вера отдельных людей в Яноса и их помощь, но нельзя исключать и усилия многих и многих людей в этой

и смежных сферах, благодаря которым нам сопутствовало признание, как творческое, так и коммерческое... Вспомните остальных – разве им не помогла в начале капризная фортуна?» (Илья Роев, агент и близкий друг Яноса Рувера).

«Она, муза вдохновения, коварная штука. Сегодня ты работаешь 24/7, а через неделю ты прозябаешь в прокрастинации. Не стоит давить. Всё получится, дайте только время. Пусть и говорят, что вдохновение – ерунда на постном месте и нужна дисциплина, в нашем случае – даже идеальные условия и жёсткая дисциплина не дают плодов» (Бен Кремер, критик).

«Вернётся ли наш писатель к своему ремеслу? Думаю, да. Он глубокий человек, ему ещё есть что сказать. Ну, или, в крайнем случае, у него кончатся деньги...» (Инга Майер, телеведущая).

2. Апартаменты

– Меня зовут Янос и у меня... кризис, – я замолкаю, оценивая произведённое впечатление.

Воображаемым шёпотом с невнятной интонацией раздаётся:

– *Тебе... Нужно побриться...*

Я смотрю на тусклый солнечный свет, пробивающийся сквозь плотные шторы. Смотрю на мигающий огонёк монитора.

Синий периодический.

Подхожу к столу, на котором в хаотичном беспорядке лежат кипы исписанных черновиков. На них стоят заляпанные кружки, стоит особняком пустая тарелка. Под столом – мусор. Пахнет затхлым.

Это всё примятый ворс ковра.

В голове будто монолитные столбы вдавливают мозг куда-то вниз. В темноту обречённости. В панику. В апатию.

– *Наведи... Порядок?..*

– Где? – уточняю я после долгой паузы.

Мне никто не отвечает.

Я иду в ванную. Из пыльной вентиляционной решётки слышатся эхоподобные утробные звуки: шум воды и припадочный соседский лай металлическим звоном из тёмной трахеи вроде бы приличного многоэтажного дома.

Слишком долго я в тишине и с самим собой. Слишком пусто в жизни. Оттого это и происходит.

Заблуждаюсь ли я в этом вопросе? И любит ли писательство тишину?

– Однозначно на этот вопрос никто ответа не даст, – говорю я своему отражению и с силой тычу в него бритвой. Моё отражение покрыто засохшей зубной пастой, разводами от пальцев по грязному зеркалу, отпечатками подмывающихся шлюх.

Оно недоверчиво смотрит на меня, ожидая подвоха.

Я открываю кран, и на меня нападает кашель. Он выворачивает меня наизнанку. Заставляет изгибаться в припадке. Упереться в холодную белую раковину и фокусировать взгляд на тёмном отверстии слива.

Выблеванные лёгкие кусочками окропляют ровную керамическую поверхность. От каждого кусочка медленно стекает вниз густая кровь. Через мгновение в раковине оказывается желтоватый желудок и ворох органов. Они шевелятся, от них идёт едкий дым. Я ворошу в кровавой каше рукой, стараясь найти что-то стоящее, но ничего не нахожу.

Кашель отпускает меня. Белая керамическая поверхность чиста. Она бьёт по глазам отражением света яркой лампы. Тёмное бездонное отверстие слива пялится осуждающе.

Я выравниваю дыхание, поднимаю глаза вверх – моё отражение пытается мне улыбнуться, но у него ничего не выходит.

«Эм-эм-патия», – чинно раздаётся соседский лай в глубине бетонных стен.

3. Очистительная станция

Уборка заняла меньше часа.

Солнце, которому больше не препятствуют, освещает комнату ярко, наполняя её вычурным жизнелюбием. Ровные углы опустевшего стола. Голые, строгие. Олицетворяют порядок. Чрезмерная лаконичность комнаты теперь нагоняет тоску и ещё большее желание не работать.

– Надо пройтись, – говорю я себе.

Говорю неуверенно, совершенно не с той интонацией, какая звучит в голове. Не так, как это будет выглядеть в печати. *Они* даже не подозревают, не ценят эти плюсы инструкции к воображению, являющиеся минусами в работе составителей. Но кичась своим эго – *они* хотят быть режиссёрами в полной мере.

Не выйдет.

Ведь мне всё по плечу.

Холодная, пробирающая до костей сырость. Большой цветастый двор, забитый машинами, суетящимися людьми, кричащими детьми, спортивными площадками, аккуратными урнами, приятными вывесками.

Я сажусь на лавочку.

Мне хочется резко встать и бежать. Мне хочется остаться на месте. Мне хочется исчезнуть. Мне хочется объять всё вокруг. Мне хочется с кем-нибудь поговорить. Долго и об-

стоятельно изложить свои мысли. Упорядочить их под чьим-то контролем.

По кирпичикам построить свой порядочный дом.

По клеткам тетрадным расчертить свои таблицы.

По пунктам составить списки.

Я вытаскиваю блокнот и записываю текущие планы. В моей голове эти планы радужны, имеющие сотни оттенков и множественные вариации. Но на белоснежных листочках они блеклые и совсем не впечатляют.

Я смотрю на свой балкон. Высоко. Но не примечательно. Этаж восемнадцатый, если считать помещения под первым жилым как за отдельный этаж.

Переезд сюда, в современный элитный район, в отдельную личную жилплощадь своей переменной должен был подстегнуть к чему-то новому в ощущениях к жизни. Покупка допотопной печатной машинки, придвинутый к панорамному окну стол – к новому в творческом плане. Смена окружения, тотальная занятость, а после – тотальная бездеятельность («перерыв») – к новому в штрихах вдохновения. Но никак не к полной деградации и тупику. Ведь когда-то, в прошлой жизни, стеснённые обстоятельства, неудобное место, окружение не давали писать «как надо». Унылый серый двор старой тесной квартиры претил вензелям одухотворённого пера. Суматоха жизни мешала в полной мере раскрыться всему и всему внутри. Отсутствие стола у панорамного окна, лишних денег и старой печатной машинки плохо вли-

яло для сотворения великого и вечного.

– Мда, – подытоживаю я вполголоса, растирая глаза.

Первая книга выродилась под давящим валом бытового катка, проезжающего по пальцам. Она год за годом по словосочетанию, рождалась под крики соседей в комнате, под шум рабочих звуков на странных местах, под гогот окружающих и ненависть к себе. Вторая, вслед за первой, писалась в нервных поездках, урывками, отпечатываясь в блокнотах, на салфетках, мятых листах, в битых файлах на подвисяющем ноутбуке.

Сейчас бы они получились глубже, осмысленней, детализированней. Более правдиво и лаконично. Но сейчас это не нужно.

Повтор за повтором.

ОПЯТЬ.

– *Остановись...*

Свежий воздух бьёт по мозгам. Скрип качелей и шум детей с их суетливыми взрослыми вдохновляют на новый виток триллера ощущений. Я звоню своему агенту и прошу приехать. Илья будто немного озадачен. Он соглашается заехать в течение дня.

Я пытаюсь понять его чувства и мысли. Меня охватывает волна приятного его удивления, я вижу расписание его дел и попытки втиснуть в тесный график поездку ко мне.

Илье кажется, что я закончил работу по третьей книге.

Но всё совсем наоборот.

С удовлетворением садиста, смешанного с досадой неудачника я поражаюсь своей подлости – подлости разрушить это его приятное ожидание.

Нерациональный материально, но рациональный, скорее морально – бунт. В чём его причины, психологические эксцессы и каково его второе дно – сил и искреннего желания разбираться нет.

Ко мне подсаживается парень в белой толстовке. Он узнаёт меня и бесцеремонно просит повторить шутку из рекламы, в которой я недавно снялся. Я говорю ему, что он обознался и ухожу, бессознательно жалко улыбаясь.

Рядом с домом большой парк. В нём выдают напрокат велосипеды. Я беру один на пару часов и выруливаю на пустующую дорожку. Холодный ветер бьёт по костяшкам пальцев, переключающих скорости. Приятная боль в мышцах ног с непривычки. Шорох шин по шершавой поверхности дороги убаюкивает. Треск подшипников погружает в оцепенение.

Множество начинающих рыжеть деревья проносятся мимо. Переход ослепительного заката в сиреневую темноту фатален, безвариативен. Это чувство отвратительно. Чувство предопределённости без возможности остановки процесса.

Разговоры людей смешиваются в разорванные отголоски. Костюмы людей смешиваются в лоскуты одеяний большого Гражданина. Я спую под ногами этого Гражданина. Мне не даёт покоя Его загадка как Читателя. В чём *ваш*/Ваш секрет? Что бы ты хотел услышать? Будут ли тебе нужны мои сооб-

ражения? Хотел бы ты узнать, что происходит?

Я останавливаюсь отдохнуть. Рядом со мной разбитый кривой столб. У столба стоит мужик и держит на поводке собаку, которая суматошно отливает на этот столб, елозя короткой ногой.

Собаку бьёт током. Резкий удар тока – ослепительная вспышка, громогласный хлопок и аппетитный запах палёного мяса. Мужик недоумённо оглядывается, тянет к себе оборванный поводок. Потом он ищет виновных, выуживает информацию, делает выводы, проводит допросы и следствия. А в конце выясняется, что этот мужик работал здесь электриком n-лет назад. И именно он допустил то, что этот старый столб забыли отключить от общего питания. Мужик напивается, приходит сюда среди ночи и падает на оголённые провода, которые так и торчат тут.

Неконцептуально.

А если мужик был зоофилом? Нежным и любящим.

Неконцептуально и отвратительно.

А если эта собака была лучшим другом его ребёнка, который трагически погиб?

А если это мужика убивает ток, а собака потом находит виновных?

Где взять сочный триггер. Как составить точный паттерн. Как часто его повторить, чем завязать и каким образом развязать?

Ответь!

– Прекрати...

Отвратительно, как этот горелый запах, что возник под носом.

Горькая слюна шлёпается на асфальт.

Мужик тянет собаку за собой. Та оглядывается, будто ища поддержки с моей стороны этому кошунственному рабству. Я показываю ей средний палец.

Муза стонет в родильном отделении. Она тужится, вся в поту, побелевшие кисти рук мнут простынь. Акушеры столпились вокруг её раздвинутых ног. Спустя время они вынимают из Музы нечто уродливое, склизкое, издающее лающие звуки и воняющее жжёным. Брезгливо морщась, они выбрасывают это в большое эмалированное ведро.

4. Агент по всем делам

– Чем обрадуешь? – Илья перебирает бумаги и посматривает на меня своими пронизательно-синими глазами.

– Думаю линзы купить. Синие.

– Купи, – дружелюбно соглашается Илья.

Он пододвигает мне стопку документов. Я безучастно просматриваю их. Честно пытаюсь вникнуть, но ничего не удерживается в сознании. Продление договоров, дополнительные соглашения по правам, соглашения на права по продукции. Итоговые и предварительные отчёты. Исключительные и неисключительные.

Мутная белесая топь в чёрных иероглифах.

В процессе подписания, вопреки внутреннему нежеланию, я говорю Илье, что застрял в созидании своего шедевра. Сердясь на себя, чувствую то самое подлое (необъяснимое) удовлетворение от скрытного разочарования Ильи. Он его не покажет. Даст пару советов, стараясь не мешать мне творить. Может, подкинет ожидаемых поворотов сюжета. Он знает, что лучше я сам, даже если придётся ждать года.

А может, зная это – он понимает, что так выгоднее?

Хочется ударить себя. За эти противоречия самому себе, за поиск глубины смыслов там, где их нет. За попытки сделать персонажей от жизни простыми, плоскими, зная всю их сложность и путанность в самих себе от себя же. Созидать

их такими: с простейшей мотивацией, скупым набором слов, однобоким, максималистичным характером и взглядом на жизнь.

Яркая белая вспышка ослепительного света по глазам.

УДАРЬ. УДАРЬ. УДАРЬ.

Я закрываю глаза и медленно выдыхаю.

Я отодвигаю стопку бумаг.

– Чем ты целыми днями занят? – спрашивает меня Илья, перепроверяя, там ли я поставил подписи, где нужно.

Я отвечаю, что убиваю время в социальных сетях, трачу остатки денег и сплю. Илья скептически кривит лицо и предлагает выпить. Я не могу понять – хочу ли я выпить, но соглашаюсь.

Выбивая из формочек, в стаканы, лёд, Илья задвигает мне мои же от меня советы, которые я когда-то, где-то, сто лет назад зачитывал на каких-то лекциях. Читай книги, чтобы писать книги. Смотри фильмы, чтобы снимать фильмы. Слушай музыку, чтобы сочинять музыку. Просто пиши, чтобы писалось. И прочий очевидный бред. Но таков ритуал приободрения впавшего во грех уныния.

– Слушай, предлагают стихи написать. О столице. Даже не стихи, гимн. Деньги хорошие, а учитывая репутацию, денег можно взять и больше...

Огромная башня Столицы нелепо кренясь, падает на голову застывшему среди бегущих людей Яносу. «*Ты монумент великий...*», – ободряюще шелестит мне за ухом первую

строку воображаемый шёпот.

В помещении огромной башни, что падает на меня, я вижу, как мне, приторно-сластолюбиво улыбающемуся, пожимает руку довольный Президент и вручает позолоченную в рамке «ГРАМОТУ», а Илье позади нас, выдают напечатанный на крафтовой бумаге банковский чек.

– ...и силы всей страны оплот, – бормочу я, ощущая явно привкус бумаги и запах кислотной мерзости.

– Что? – спрашивает Илья.

– Ничего. Плохая затея. Не хочу такое делать, – заявляю я.

– Ну и ладно. Но ты подумай.

Я принимаюсь обсуждать новые идеи. У меня плохо выходит изложить копошащиеся в мозгах задумки в строгом историеподобном исполнении. Я путаю, забегаю вперёд, недоказываю важные части. Попутно меня поражает, как у меня вообще выходит что-то писать, если я не могу ничего толком объяснить даже своему агенту. Илья интуитивно понимает мои задумки, он понимает, что я имею в виду, но всё же он пытается сменить направление разговора. Чуть опьянев, он хватается за надёжную, в плане позитивно укрепляющих тенденций, нить: наши общественные достижения. Их легко и приятно обсасывать.

Я поддакиваю, хоть скептицизм во мне бурлит.

Первая книга: проданы права на печать и экранизацию сериала за рубежом. Вторая: проданы права пока только печать, но ведутся переговоры по экранизации в полномет-

ражный фильм. Продюсерский центр, какие-то участия в каких-то прайм-тайм шоу, лекции и интервью прошли парадом успеха пару лет назад, постепенно сходя на безвестность.

Всё это звучно со стороны. Всем этим можно хвастаться *и.м.*, остальным.

Но в этом нет ничего особенного. Это не произвело фурор в общекультурном значении всего человечества. Возможно, вы не поймёте, но опьяневший Илья это понимает. И поэтому он прекращает блевотную ерепенистую канонаду и говорит чисто, абсолютно адекватно, выпуская в потолок желтоватый сигаретный дым:

– Ты понимаешь, ты в этой стране первый такой.

Я мысленно обещаю ему, что наша третья книга станет Большим и Знаковым явлением. Что о нас не забудут через короткое время. Что мы сделаем так, как хотим и при этом умудримся продать себя как можно дороже. Пьянея уже сам, я обещаю всё больше и больше.

Но вдруг понимаю – что всё это не имеет значения.

5. Шот

В делах, касающихся выпивки, мне запоминается ярко и однообразно – стеклянное осушаемое дно.

От малых рюмок, до больших пивных кружек.

Глоток – стеклянное дно на память в подарок.

И снова.

Разговоры людей вокруг смутны и не имеют значения. Они источники глухого смеха, источники каких-то будущих полунадуманных историй, они как точки опор социального значения.

Искренние источники жизни.

Шот за шотом.

Сегодня день рождения престарелого главы центрального телеканала. С этого же дня он добровольно уходит на пенсию. У его коллег и подчиненных чувство облегчения. Они ощущают новое, им грезятся значимые перемены, свежий бриз свобод и прочее в таком духе. В связи с этим – обстановка на празднике раскованная, воодушевлённая.

Я на тесно усаженном диване. Справа от меня поэтесса, певица и композитор в одном лице – Афина. Она трётся об меня своим голым белым бедром, задрапированным лазурным платьем, рассказывает всем сидящим о том, сколько ей присылают изображений членов и что можно открыть целый музей, посвящённый этому. Слева, разнузданный, с краси-

вой пышной бородой, здоровяк Гавриляйкис. Он работает в министерстве культуры, но в это министерство не верит, мол, это для творчества вредно. Напротив нас сидят странные персонажи с телевидения и странные персонажи с интернета, все они хорошие приятели Афины. Эти две группировки рассказывают о своей недавней эмигрантской жизни, перебивая друг друга и, стараясь обскакать друг друга, жалуется, в плане «кому было тяжелее». Они перемалывают истории про потёкшие унитазаы в съёмных квартирах, ночевки на вокзалах, проекты за еду и что-то в этом роде.

Шот за шотом.

К нашему разобщённому столу присоединяется ещё сброда. Продюсер, эскорт-тёлка, телеведущая Майер, пророчащаяся в диктаторское руководство каналом, ещё один писатель, по совместительству мультипликатор, жирный шоумен, неприлично молодой клипмейкер, и мучающийся от происходящего, художник со своей тощей женой.

Задорный корпоратив работников культуры и просвещения.

Я смотрю на художника. Желаящий писать симфонии по типу Айвазовского – пишет занудные абстракции и поп-арты коммерческого успеха. Он весь в татуировках. В носу у него кольцо, как у коровы. Мне хочется обнять его и пожалеть. Одновременно мне хочется выдернуть это кольцо, разорвав носовую перегородку, ударить кулаком по лицу и заорать: «Хули ты ничего с этим не делаешь?».

Но вопрос в другом – кто его сюда позвал и почему он согласился?

Он идёт в сторону туалета, и я иду за ним.

В туалете я умываю лицо, покрасневшее, горячее от алкоголя, подгадываю момент, когда художник проходит мимо. Я обнимаю его и говорю ему, что всё будет хорошо. Он ниже меня на полголовы, у него тонкие мягкие плечи. Он возмущён. Он толкает меня и говорит, что я пидор и чтобы я держался, нахрен, подальше. Я с силой сжимаю пальцами ему щёки и говорю, чтобы он заткнулся. От него пахнет масляными красками. От этого запаха крыша едет.

Художник мешкается, отбрасывает мою руку со своего лица и бежит прочь, ударившись об косяк, нелепо хлопнув дверью, окатив меня испуганным взглядом на прощание.

За голубоватым зеркалом, в идеально белом освещении, давящем на глаза со всех сторон, в восхитительной уборной хохочет Янос Рувер. Хохочет не как безумный маньяк, хохочет приемлемо. Будто вспомнив приличный анекдот.

Мы сидим в моей старой машине. Мне восемнадцать, Эве то ли пятнадцать, то ли шестнадцать. Она показывает мне свои картины. Толстые мазки масляных красок изображают невероятные фигуры, геометрически искажённые структуры мятых абстракций, напоминающих части тел каких-то уродцев с пружинами вместо голов.

Да, это красиво. Наверное.

Я просто первый раз вблизи вижу рисунок масляными красками.

Я запоминаю этот запах.

К нему примешивается запах бензина и сладкий аромат духов. Что она понимает в духах, чтобы так элегантно ими распаляться?

Я целую Эву, стараясь смять всю её полностью. Мне хочется, чтобы она вся была моей.

Её рисунки валяются по всему салону. На моих руках следы от непросохших красок. Я целую её и это самый лучший поцелуй. И самое приятное тело в мягком свитере.

Что я понимаю в поцелуях?

Вполне достаточно, чтобы понять, что это восхитительно.

Её зеленоватые глаза с вкраплением серого смотрят опасно. Зрачки в них становятся всё шире. Она барахтается, старается меня слабо оттолкнуть, но поддаётся и её губы смазываются с моими.

Она закрывает глаза.

Это свидание, второе по счёту моей памяти, идёт по странному сценарию.

Мне хочется сказать ей, что никакого сценария нет, есть только желание целовать её сладкий рот, а рисунки и подростковая тупая болтовня – лишь предва-

рительный антураж.

Нас бесцеремонно обрывают стуком в окно, слепя белым лучом фонарика.

Я возвращаюсь из туалета в зал и решаю отсюда уезжать.

Специально делаю крюк, чтобы посмотреть на «свой» диван. Художник бросает на меня взгляд. Его жена смотрит на меня настороженно безотрывно. Я подмигиваю ей. Афина, делая безумные глаза, расталкивает сидящих вокруг, порываясь выйти. Она идёт ко мне. Я стою как вкопанный, уставившись на неё.

Это наша с ней вторая встреча. Первая была сто лет назад, когда я триумфально был представлен свету на странном творческом вечере, где вобло-сельде-образные бесталанные и не очень придурки зачитывали свою писательскую ерунду. А она, Афина – приглашено пела, почему-то с саксофоном наперевес.

Она идёт ко мне, чеканя шаги своими длинными ногами, её прямые волосы, в лаконичном образе, мотает из стороны в сторону.

Мы танцуем как парочка отбитых животных в брачный период. Наши движения архаичны, но они от души. И если Афина, имея опыт певицы и работницы масс-культуры на публике танцует относительно красиво и в такт, то я же чувствую, как мне будет потом стыдно за свои судорожные дёрганья. Но это всё будет потом. В пьяном состоянии мне ка-

жется, что я выбил индульгенцию на такого рода мероприятия и выходки.

Шот за шотом.

– ПОЕДЕШЬ со мной? – спрашивает она слишком громко. Кажется, все певицы так громко разговаривают и так развязисто открывают рот.

Я вижу её белоснежные зубы, на которых следы помады, на которых блики неприятного света. Мне не по себе, но что-то внутри отчётливо представляет, как я слизываю эту помаду с её зубов, как мои губы размазывают это ало-красное по её белому лицу. Как она лежит у меня в комнате, на мятом ворсе ковра. Голая, мастурбирующая, под сменяющие один за другим изображения членов на белом проекционном полотне, заглушая выкриками гул проектора.

Я показываю головой в сторону выхода, не выходя из танца.

После горячего поцелуя у гардероба, под смущённый взгляд старой уборщицы, за толстыми деревянными дверями – резкий отрезвляющий холод.

КЛИШЕ № 1: «Янос Рувер просыпается ото сна, шумно, с безумным вдохом, резко сев на кровати. Рядом мирно посапывает его жена. Янос успокаивается, вытирает со лба пот, старается дышать глубоко и размеренно. Он безотчётно поправляет одеяло жены, бросает взгляд на детскую кроватку, где ворочается их грудной ребёнок».

Афина ёжится, ковыряясь в сумочке, и поглядывая на меня.

Я в тёплой куртке, потому как соображаю на несколько ходов вперёд. А она не соображает на несколько ходов вперёд, и потому стоит в модном, но тонком пальто. Она находит увешанный безделушками брелок от маленькой машины и жмёт на кнопку. Где-то далеко на парковке скромно запищало.

С неба траурно начинает падать снег.

Мы идём к машине. Мы садимся в машину. Мы едем в машине. В маленькой, тесной, воняющей тропическим ароматом машине. До безумия холодной машине.

Холодный дешёвый пластик.

Афина неумело крутит тумблеры, пытаюсь настроить печку.

Я отбрасываю её руки и включаю тепло как надо.

– Может... Я поведу? – спрашиваю я и понимаю, что не поведу – алкоголь мне даже эту фразу нормально не даёт сказать.

Афина многозначительно смотрит на меня. Я отворачиваюсь и представляю.

Представляю.

Пытаюсь представлять.

Как выдавливать из пустого тюбика пасту. С силой сжимаешь дно и давишь до самой горловины. Сука, вылезай, блять,

мне надо.

Мне срочно надо...

Мы едем на секретную базу? Мы погружаемся в пучину великого приключения? Что? Мы едем в прошлое? Она откусывает своими белыми зубами жертвам пальцы, раззявив рот? Она делает из них губную помаду?

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ?

И что делаю я?..

Как же воняет.

Мне хочется спать, меня гипнотизируют жёлтые огни светофоров, я подмечаю, что над каждым перекрёстком висит камера. Я подмечаю, что на каждом перекрёстке стоят патрульные.

Стук в окно.

Машина в тёмном дворе с запотевшими стёклами. Кругом сырая стылая осень. Меня окружают трое патрульных, они проверяют мои документы и допрашивают меня.

Эва поправляет свой свитер, свои пышные волосы и не знает, что делать.

Патрульные заботливо советуют мне отключить фары и сесть к ним в машину. Там они спрашивают, где я служил и кто я по жизни. Я поясняю им, где я служил и кто я по жизни. Мы ещё беседуем с полчаса. И они исчезают.

Мы с Эвой едем домой. Я кидаю рисунки на заднее сиденье. Целую и обнимаю её. Она скрывается за дверью подъезда, обернувшись и подняв в прощальном жесте руку.

Отныне мы видимся часто, нелепо, незрело, в соответствии с кодексом подростковой влюблённости.

6. Пе

У Афины красивое тело. Анатомически. Я до последнего надеюсь, что под платьем у неё геометрически искажённая структура какой-нибудь мятой абстракции. Но у неё аккуратная грудь, идеальной длины ноги, ровные пальцы, правильные пропорции вообще всего. Такое встречается не так часто, как многим кажется. Тела некрасивы, всегда есть изъяны. Этим они запоминаются, и на этом строится фетиш. Но почему бы и не изобрести фетиш идеального тела?

Мысли меня отвлекают, рассуждения сбивают с ситуации.

Я останавливаю свои похотливые действия как раз вовремя – на мне ещё остались джинсы и я не стану выглядеть конченным импотентом.

Афина говорит, что у неё кружится голова, а я говорю, что нам лучше не торопиться. Афина гладит меня ступнёй: проводит от груди до ширинки. До меня доходит: её ступни. Вот оно – совершенство мира, в его совершенном облиции.

Позже она сидит на краю своей кровати и смотрит на меня тёмными глазами. В них огромные, как под кислотой зрачки. В её взгляде блеск обожания. Влюблённая после первого свидания.

Я иду на кухню, укутанный в одеяло.

У неё в квартире повсюду холодный кафель. И в холодильнике лишь полупустая бутылка вина. Делаю глоток и мор-

щусь, попутно пытаюсь вспомнить, можно ли хранить вино в холодильнике.

Неприятно, товарищ низкоквалифицированный «пе», ко-рявый обольститель, хороший тунеядец, и плохой алкого-лик. Пить больше суток не получается. По истечении суток – любой алкоголь воспринимается как тошнотворный яд. И это хорошо, в какой-то степени.

Я смотрю в окно на унылый тёмный двор, на мусорную кучу, в которой ковыряются коты. Проезжает машина, туск-ло отсвечивая фарами по стене грязно-серого дома.

– Мне надо уезжать, – говорю я, натягивая джинсы.

– Я тебя отвезу, – мурлычет Афина.

Я взвешиваю «за» и «против» этого предложения. Баналь-ное нежелание ожидания такси и объяснения таксисту адре-сов заставляют меня согласиться. Но дело не только в этом. Мне вдруг страшно остаться с самим собой.

Ведь придётся: работать.

С самим собой нехорошо, да?

С отвлекающим фактором не лучше, но хотя бы повод есть ничего не делать.

Мы спускаемся к неровно припаркованной машине. Вино (бутылка) мешает мне открыть дверь. Я решаю покурить, раз такое дело (подожду, пока дверь сама откроется). Но у меня нет сигарет.

Я пинаю дверь машины, пинаю так, что там остаётся боль-шая вмятина. Продолжаю пинать с большим азартом, и дверь

загибается внутрь, она слетает с петель, нелепо вваливается. Коты разбегаются от грохота. Ко мне бегут одинаковые в одинаковой же форме патрульные. Они светят фонариками, фанатично/маньячно целясь лучами мне в лицо, будто в этом их великое предназначение, будто только это их и заботит. Я прошу у них прикурить, не особо на что-то надеясь.

Мы с Афиной садимся на холодные сиденья. И аккуратно закрываем двери.

Мы едем.

Дешёвый пластик покрыт пылью.

Тропический аромат приобретает новые оттенки неприятного.

Я делаю глоток из бутылки и подавляю громкую отрыжку.

Афина смотрит на меня и делает «воздушный поцелуй».

Дура.

7. Первый

Афина трогает моё пианино. Она трогает мои черновики. Она трогает мои ручки и блокноты. Она включает мой проектор и выбирает на нём фильмы. Она бесцеремонно надевает мою рубашку и делает вид, что имеет на всё это право.

Я говорю ей сварить кофе.

И под шум кофеварки она орёт:

– Над чем ты сейчас работаешь?

Я делаю вид, что не слышу.

Не твоё дело, над чем я сейчас работаю. Это моя работа и ты мне мешаешь.

Засунь ей кляп в рот и перебей ноги, в таком случае, умник.

– ...ты слышишь?

Я беру из её рук кофе и говорю, что мне надо работать. Она соглашается и ничего не происходит. Я спрашиваю, есть ли у неё идеи? Какие-нибудь гадости? Мерзкие подробности? Что-нибудь из области психологических давлений и отклонений? Извращения?

Я сажусь за компьютер и открываю новый документ.

Абсолютно пустой. Девственно чистый, притягательный. На нём сейчас – миллиард миров, миллиард ситуаций и героев в этих ситуациях. Их тянет поговорить. И темы их от глобального нытья о жизни, до низкой ругани за скидку на

труссы.

Ну?

Я сморю на свою нимфу: она лежит на животе, в одной рубашке, болтает босыми ногами и молчит. У неё нет историй.

У меня нет историй.

Белый лист остаётся белым листом.

– Ты помнишь, как мы впервые встретились? – вдруг спрашивает Афина.

– Да, – отвечаю я.

Она обнимает меня так, будто мы давно знакомы.

Её грубый голос в разы лучше, чем по телефону.

Она вся в разы лучше, чем на фото и чем я себе представлял.

Мы идем по узким тропинкам парка. Мы бредём быстрым шагом, мило беседуем и несмело подшучиваем. Она в больших белых кроссовках. Она одета компактно, стильно.

Мы сидим на лавочке, не касаясь друг друга. Её пышные волосы приятно пахнут. Меня охватывает дрожь, как какого-нибудь придурковатого девственника.

До нас доносятся рупорные переговоры железнодорожной станции – они здесь звучат постоянно, с интервалом в десять-пятнадцать минут. Солнце клонится к закату, освещая розовым типовые уродли-

вые здания. Взбитый асфальт пешеходных дорожек зарастает травой. Шумные деревья из последних сил стараются сбросить жёлтые листья. Недовольные лица проходящих мимо людей фиксируются в моей памяти на годы.

Этот старый город – перевалочная станция.

Мы говорим и нас тянет друг к другу, но никто из нас не движется. Мы сидим на лавочке, не смея коснуться друг друга.

Я предлагаю отвезти её до дома.

Мы садимся в машину, но никуда не едем.

Она влюблено смотрит на меня.

Я впервые целую её, покорную, ожидающую, романтично красивую до безумия. И это самый лучший поцелуй в моей жизни.

– ...но ты уже стал знаменитым. И поэтому я подумала, ты решишь, что это из-за этого.

– Зря. Поцелуй на первом свидании – залог отличных отношений.

У меня неудобное кресло. Оно перемалывает меня. Экран чересчур тусклый. В комнате очень душно. Мне не хватает дыхания. Все мои мысли – замотаны в толстый слой грязной ваты.

Афина всё смотрит на меня, у неё между налитых грудей, отсвечивает золотым крест. Мне кажется это чем-то непра-

вильным, но символичным.

Пытаюсь развить идею. Всё время, блять, этим занимаюсь.

В квартирах соседей постепенно нарастают бытовые шумы.

Уже утро.

Я закрываю глаза и пытаюсь понять – хочется ли мне спать?

Мне хочется медитировать, бессмысленно мыча какую-нибудь мантру, но уж точно не спать.

Нужно выстроить строгий режим.

Нужно выстроить, да всё как-то не попад.

8. Пробег

«Уезжаю в турне».

Да, она же певица. Фартовая, талантливая. Успех коммерческий – показатель и эквивалент таланта (?). Но есть же бездари, попавшие в момент. Они что, тоже талант? Не попадание в момент, а умение быть на плаву после этого момента – талант. Мой субъективизм пытается загнать всех частных в одну со мной лодку. Да только: по себе зачем судить? Образ Афины – талант, в нормальном понимании этого слова. Афина человек-в-быту – ничем не пахнет и слишком громко разговаривает.

Неконцептуально снова. Что-то бессвязное лопочу в невозможности сформировать Мысль. Философские заметки по типу белое – бело, чёрное – черно.

Что я делаю? (лопочу бессвязное). Пытаюсь неуместным образом создать историю на коленке из имеющихся блеклых соображений. Не соображения создадут Историю. А деятельные персонажами факты. Надо встать, разбежаться и удариться головой об стену.

Это поможет.

Я встаю и прохожу широкими шагами из комнаты в комнату, разгоняясь. Слишком мало места для достойного сотрясения мозга удара.

А!

– Отмазок больше нет, Янос, приступай к работе... – во-
ображаемый шёпот настойчив, как опытный доктор, заставляющий пройти курс терапии.

Доктор? Есть ли у нас на примете доктор?

Какой-нибудь доктор-маньяк-убийца-с-дебильным-детством-и-отклонениями? Какая-нибудь безумно больная история, что заставит сопереживать сложным героям? Дерьмо, наркотики, искалеченные организмы и души, нелепые поступки, нестандартная ориентация, инвалидности, унижения, война, пытки (детализированные, конечно), боль и сопутствующие результаты?

Толерантность с кулаками и добро без мозгов.

А?

Так незрело.

Так банально, чтобы этого не заметили.

Так банально.

Так всё банально, Господи...

Моя работа – это ходить из комнаты в комнату, злобно захлабываться приступом паники, бить стены в желчной ненависти к нерешительной тупости и самобичеванию.

Я смотрю на деревянную доску, которую недавно повесил на стене. На ней ровные таблицы с полями «2000 символов». Ровные таблицы со списками посещения спортзала. Расписания правильного питания. На ней – какое-то недостижимое, противное всему внутреннему жеманство. Попытка как-то устаканить происходящее внутри черепа.

За окном мокрая текстура снежного вечера. Одиозный вечер. Одинокий вечер.

Рабочий вечер.

Я бегу прочь из квартиры.

Хлопьями снега поглощаются звуки городской суеты. Фасады домов выполнены из фанеры. Массовка из обычных неприметных людей спешно расступается. Я бегу в лёгкой куртке далеко вглубь парка. Я бегу в темноту, всё ускоряясь.

Я чувствую незримое, витающее рядом – протяни руку – ухватишься, утащишь клубок какой-то мысли, какой-то идеи. Пытаюсь разглядеть знаки, осознать, сколько сюжетных линий должно быть на поприще Той Самой Истории, сколько Персонажей, их отправные точки и их финишную прямую: расставь вешки – и всё пойдёт как по маслу – они побегут по нужному маршруту, задыхаясь от новых впечатлений.

Но увидев, разглядев эти вешки, эти опорные пункты – я понимаю, как их много. Их так много и между ними можно составить столько витиеватых маршрутов, что вся сущность внутри сжимается, разрываясь в стороны, как от взрыва, под мнемонический дикий крик бессильного ужаса.

Коллапс ЦНС.

Я поднимаю глаза вверх – огромные Читатели медленно бредут вперёд, возвышаясь над заснеженными елями. Большие, размером с двадцатиэтажные дома, сплошь чёрные фигуры искажённых, но гуманоидов.

Медленно вверх. Медленно вниз.

Ты тот, кто сидит у костра и что-то рассказывает в передатчик, который усиливает твой голос, пока эти Читатели бредут за твоей спиной позёвывая.

Они раздавят тебя, когда найдут.

Когда увидят, кто ты есть.

Обыкновенный сплетник и выдумщик.

Если ты их не опередишь. Если снова не вырастешь. Потом, снова уменьшишься, но на какое-то время отсрочка будет получена.

Читатели идут на фоне ночного неба и монохромной действительности вокруг. Они всё-таки раздавят тебя. Им неинтересны твои судорожные желания убежать от себя, поймать что-то, что ты там придумываешь себе. Тяжёлый звук на низких частотах так же медленен, как их путь вперёд. Звук этот – растянутый во времени голос, что раздаётся из рупора железнодорожной станции.

Читатели переговариваются.

Спустя три года с нашей первой встречи, перед её отъездом в другую страну мы практически не общаемся. Этот отъезд воспринимается как побег в нечто светлое, прекрасное новыми надеждами и перспективами.

Я же – жалкий, мелочный, остаюсь на этой перевалочной станции. Я пишу ей гадости, где-то глубоко

недоверчиво радуясь за неё, опустошённый от самого себя и бессмысленных ожиданий.

Она улыбается на фотографиях.

Она на них совсем чужая.

Она напишет, что рассталась со своим прошлым парнем, она будет писать, что счастлива с новым парнем, она будет писать про учёбу, полную радужного жизнь, горизонты, возможности, друзей.

А я через пару лет отстранённо забуду об этой интриге, окунувшись с головой в деятельную жизнь.

Холодный воздух внутри лёгких. Два коротких выдоха, один глубокий вдох. Глухой удар стопы о землю. Множество белых лап ветвей в парке проносятся мимо. Боль в мышцах изнуряюще суживает сознание.

Мне хочется загнать этого ублюдка до смерти.

Беги, мразь.

БЕГИ.

КЛИШЕ № 2: «Янос Рувер сидит в тесном офисе за рабочим компьютером в приятной прокрастинации. Он пересчитывает в голове денежные накопления за последний год и радостно улыбается. Он звонит в туристическое агентство и будто небрежно интересуется о выгодных семейных предложениях».

Я лежу на полу, пытаюсь втянуть побольше воздуха. Окна раскрыты настежь, в комнату летит бриллиантовой дымкой снег. Я не могу надышаться этой баснословной свежестью.

ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ВСТАТЬ!

Пронзительный звонок телефона, лежащего на столе. Звонок цикличен. Он нагнетает истеричную атмосферу. Он неуместен, раздражающе криклив. Он заражает меня панической атакой.

Я продолжаю лежать на мягком тухлом ковре с примятым ворсом, пытаюсь втянуть побольше холодного воздуха.

Порядок не работает. Беспорядок не работает. Работает удача и подмахивания готовым материалом в момент обращения её взора на тебя. Делай свой материал и броди с ним по обочине, пока кто-то не спросит: «Работаешь?». Давеча свезло пару раз подъезлосить задницей навстречу фаллосу судьбы, а теперь стало ясно, что за фрукт этот Янос Рувер.

Кончился интерес от фортуны и нет умения держаться на плаву?

Кончился ты. Не правда ли?

Это навевает каким-то фатализмом.

Это всё от безделья, веселья, вольнодумности под соусом обязательств. Работать надо.

ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ВСТАТЬ!

Телефон продолжает звонить. Мне кажется это чем-то бестактным. Дюжина за дюжиной звонков. Даже если это и что-то важное. Оно не сравнится с той катастрофой, что сей-

час на самом деле происходит. Без гипербол. Я слышу сдавленный смех воображаемого шёпота. Я здорово его смешу.

Телефон замолкает.

Тишина – ласкает и баюкает.

Я лежу. В моей голове, словно разорванное лоскутное одеяло: разрозненные люди бредут по пустым страницам. Я пытаюсь раскрыть их за первые пять сцен. Это такая игра. Я обнажаю их характеры, их мотивации, их прошлое, их надежды и, самое главное – их Проблему. Я пытаюсь связать всё это воедино, упорядочить, а позже удалить ненужное.

Одеяло рвёт по швам от (ПАНИКИ)/(ОЧЕРЕДНОГО) тревожного звонка телефона. Стол раскалывается на две части, будто его распилили, чёртов телефон падает на пол. По полу ползут трещины, обнажая бетонные внутренности с торчащей из них арматурой. На меня недоумённо глядят соседи. Я подмигиваю *им*, на секунду превращаясь в *их* предмет очарования, заставляя *их* простодушно махнуть на меня рукой. Крошево бетона разлетается в стороны. Дом разваливается на огромные бесформенные фрагменты, утопая в пыли.

Жители падают, кашляют, трезвеют и осуждающе на меня смотрят.

– ДА!?

Илья восторженно напоминает мне, что завтра я должен быть на ток-шоу. Он спрашивает, как мои дела? Я отвечаю ему, что всё прекрасно. Он также напоминает мне о встре-

че с киноделами, и я чувствую, как Илья счастлив. Это заразительно. Я вдохновенно расспрашиваю детали встречи, что надеть, чем смазать, где побриться, на чём акцентировать внимание.

И спустя минуты разговора – тишина.

Ласкающая.

9. Ток-шоу

– Микрофон повыше, – делает замечание редактор.

Рядом со мной возникает один из его ассистентов. Он дёргает петличку микрофона на моей рубашке, бесцеремонно пытаясь натянуть её повыше. Я бью его по рукам и поправляю всё сам.

Позади, на трибунах, рассаживают массовку. Ассистенты просят расчёски, перетасовывают людей по своему внутреннему порядку, дают рабочие указания в рации и всё никак не могут настроить свет. Оператор, стоящий рядом со мной, деловито покручивает наушник и возится с камерой. Я пью предложенный мне невпопад кем-то из проходящих мимо чай, в какой раз поражаясь этой закадровой суматохе, закулисной захламленности и всеобщему хаосу.

На площадке появляется Майер. Она тянет губы трубочкой, перечитывает с планшета текст, держа его в вытянутой тонкой руке. Время от времени она на автомате покручивает в воздухе затёкшую кисть. Визажистка, будто совсем не к месту – вальяжно водит по её щекам толстой кисточкой. Майер, ощущая мой взгляд, поднимает на меня глаза. Я салютую стаканом с чаем и гипертрофированно ухмыляюсь.

На сцене школьного зала, в плохо скроенном костюме Гамлета сидит Янос. Он держит череп из папье-маше и

отстранённо смотрит в зал. Луч прожектора освещает его скорбную фигуру. Янос произносит монолог. За ним девушка, исполняющая фоновую вторую роль. Она вся из кожи вон лезет и пытается что-то из себя изобразить. Монолог Гамлета-Яноса завершён. Зал взрывается овацией.

ЗТМ.

Пропустив несколько репетиций подряд, опоздав на третий показ, шатающийся Янос проходит в зал и видит: девушка фоновой второй роли, в элегантном платье, стоит с мраморным черепом в руках и ей, согласно загоревшейся надписи «Applause», – аплодирует весь зал.

«APPLAUSE»!

«Религия! Политика! Искусство! Жизнь!» – вдруг раздаётся над головой. Загораются лампы и Майер выходит на середину площадки, чеканя свой текст, объясняя тему, показывая узкой ладонью вверх, на экраны. На экранах проигрываются нарезанные важным видеоряды. Майер начинает задавать вопросы, требует рассказней и отношений к и об от приглашённых гостей.

Камера номер один смотрит на жирного попа. Он рассказывает о «единой энергии воздействия» между политикой и религией. О синтезе искусства и необходимости «ока» за всем этим делом. Тощий мулла с брезгливым лицом говорит о необходимости строгого соблюдения каких-то требований, а иначе это грозит насилием. В их монологи вклинивается

политик с крючкообразным носом. Он выкрикивает провокационные вещи и суматошно откашливается после каждого предложения. Лысый буддист улыбается и старается нежно что-то объяснить. Католический священник краснеет после сотого вопроса о педофилах. Поп отрицает, что роскошь – это не необходимость. Яростно кричит, отвечая на вопрос о недавнем освящении ядерной ракеты в прямом эфире, объясняя про принцип непротивления злу. Мулла устанавливает таксу минимального пожертвования на этот год. Политик хвалится многообразием религий.

Я понимаю, что талант Майер – находить таких крайних в своём ремесле представителей. Проникаясь духом бессмысленной ругани на пустом месте, стадно и животно я пытаюсь всем втолковать, что вся эта мифология – дешёвая психотерапия, и она потеряла свою актуальность. Я теряю лицо, но что мне.

Мне говорят заткнуться, приводя в довод, что моя книга – это сиречь беллетристика на религиозных догматах. Я предлагаю всем купить мою ещё не вышедшую новейшую книгу о культе атеизма и безбожия в умах ватиканских врачей. Мне говорят, что я несу чушь. Я предлагаю освятить мою книгу, кто-то из зала просит не устраивать из-за неё теракт. Мы смеёмся, а до меня доходит, какой инфо-кошмар начнётся в сети, и я думаю, что до выпуска эпизода в эфир надо к этому как-то подготовиться.

Нам транслируют видеоролик о конфуцианстве и летаю-

щем макаронном монстре.

Никто не понимает суть.

Не дождавшись окончания ролика, я пытаюсь всем объяснить, что ролик – дерьмо и неверно передаёт отношение человеческой природы к сверхъестественному. Они раздражаются на мои популистские выпады. Мне хочется довести их до состояния, когда кто-то полезет со мной в драку. Я чувствую, как саданит в кулаках, я представляю, как кровь морально устроенных в этой жизни священнослужителей заливает их козлиные бороды, как округлятся глаза буддиста, когда он получит под дых. Как радостно будет хлопать в ладоши политик, подпрыгивая на месте от возбуждения.

Майер, по ходу шоу, держит общий настрой – она мгновенно сбивает отвлечёнными репликами мои выпады, выпады святош, выпады политика. Я вижу и ощущаю – ей всё по нраву, шоу идёт так, как надо. Она слегка упивается этим. До меня доходит, что я единично на одной стороне, а они все на другой. Это пахнет некой подставой, поэтому я затыкаю рот и сверлю Майер недовольным взглядом. Она подмигивает мне, слегка пародируя мою брошенную ей в начале шоу ухмылку. Так, что никто и не понял.

Талант!

По ходу витиеватых итоговых монологов все забывают главный вопрос выпуска, продолжают кричать, доказывать друг другу невнятные вещи, вздевать руки и махать микрофоном.

Объявляют стоп.

Все неожиданно успокаиваются.

Я достаю телефон, и социальные сети заботливо преподносят мне фото Эвы на фоне железнодорожного вокзала старого города.

Я немыслимо везуч.

До неё – пару часов езды на самой лучшей арендованной машине.

Рукой подать.

Я медленно иду по бесконечному коридору телестудии. На стенах, через ровные интервалы – маленькие фотографии в рамках. Запечатлены события от самого основания телеканала – до недавнего события, касательно ухода президента. На этой последней фотографии я вижу себя, танцующего на заднем плане вместе с Афиной. На переднем – художник что-то шепчет своей жене. Фотография вышла нелепо-красивой, неофициальной, интересной.

Мне навстречу, увлечённо обсуждая, размахивая руками, идут Илья и Майер. У них по-деловому быстрая походка вполоборота друг к другу. Чуть не сбивая меня, Илья отвлекается, будто не узнаёт, потом начинает сиять и, тыча в моё плечо указательными пальцами, начинает тараторить:

– Ну, ты, брат, демон демагогии. Так держать. У нас тут полно новых проектов с твоим участием! Бурого зацепим, Гавриляйкиса, такие потрясающие вещи сделаем. Позволь представить: наш новый великий продюсер.

Майер берёт меня за лицо своими длинными кистями рук, притягивает к себе и целует в лоб:

– Ты ещё послужишь на славу мой скандалист, – говорит она грубым голосом.

Я кладу руку на сердце и сдержанно кланяюсь. Майер делает жеманный жест рукой, прокрутив ею в воздухе. Илья спешно идёт за ней, показывая мне жестом: «Позвоню».

В моей голове играет отрешённый амбиент.

В моей голове проявляется снимок: карта старого городка. Я слышу гул поездов и переговоры с железнодорожной станции. Я вижу Эву и чувствую лёгкое волнение от воскрешения забытых, утопленных годами чувств. Это очень удивляет – знать, что ещё можешь такое испытывать.

На карте указаны вешки памятных мест, достопримечательностей, пунктиром обозначены маршруты перемещений.

В моей голове сдвигаются расписания дел.

Мимо меня проходит католический священник, он бросает мне миролюбивое: «Храни вас Господь». Я отвечаю ему кивком. Коридор темнеет, но священник озаряется свечением. Священник гол. На его спине, сочащаяся кровью, неразборчивая надпись. Священник поворачивается ко мне лицом, поднимается к потолку и поднимает же руки, делая вид, будто его распяли. Он игриво улыбается. Мы оба понимаем – всё это – первоклассная шутка.

В моей голове, отступом на бескрайне белом, чеканится

строка: «на его спине маньяк вырезал своё уже классическое
“Gott ist tot”».

10. Открывающая сцена

Сегодня рыбаки нашли «поплавок» – обвешанный золотом разбухший и без того жирный труп мужчины лет шестидесяти. Одежда отсутствует, татуировок нет. В бороде – грязь. Пахнет, несмотря на лёгкий мороз – мерзко. На спине, вырезанная ножом, плохо разборчивая надпись: «Gott ist tot».

Следователь Светлый шумно вздохнул, почесав зажатый в руке карандашом небритую шею.

– Переверни обратно на спину и принеси попить, – сказал он прыщавому сержанту, чересчур увлечёвшемуся осмотром тела.

– А как это он всплыл? – спросил сержант.

– Иди попить принеси. А лучше у этих вон термос возьми. У каждого из этих, – Светлый махнул карандашом назад, – должно быть. В приоритете кофе, давай.

Сержант пошёл к стоявшим на берегу водохранилища рыбакам. Разномастные, с бурами в руках, в валенках и цветных куртках они полушёпотом обсуждали увиденное. К ним подходили местные, живущие в частных домах поблизости. Светлый обернулся и прикрикнул:

– Почему на тонкий лёд выходим, а?

Никто не ответил, все так же продолжили стоять, глядя, гомоня, пихая сержанту свои термосы и пакеты с едой,

указывая толстыми рукавицами на середину водоёма, что-то друг другу объясняя. Огромные льдины уже подтаивали – восход принёс горячее солнце. Оно ярко слепило на чистом небе.

Светлый присел у трупа: множество перстней (по несколько штук на каждом пальце), несколько толстых цепей на шее, большой крест на груди. Всё из золота с инкрустацией камнями. Антикварная вульгарность. Светлый снял один из перстней с верхней фаланги опухшего пальца утопленника и положил в передний карман куртки. Обернувшись на толпу, он заорал:

– Кто обнаружил труп?

Из толпы вышли двое. Очень охотно, очень взволнованно начали рассказывать, как ещё вчера готовились выехать поутру, как собирались, как «отбрехали» от жён. Светлый терпеливо ждал, неосознанно оставляя витиеватые штрихи карандашом в блокноте. Рыбаки перешли к сути: труп нашли, как только приехали, у самого берега, там же, где и лежит сейчас. Такое видят впервые.

Подошёл сержант, в одной руке – шапка, в другой – расписной термос. От головы сержанта шёл пар. Светлый забрал термос, отвинтил крышку, налил в неё содержимое, выпил. Пальцем показал сержанту на обнаруживших труп рыбаков:

– Запиши данные и бегом у всех приезжих интервью собирать. Местных не трогай. С местными я сам. Кое-что про-

верить надо, – добавил отрешённо Светлый.

Со скрипом, коряво урча, к самой воде подъехал старый полицейский фургон. Из него, в штатском, вышел широкоплечий, с будто вздутыми грудными мышцами Зор. Он вальяжно махнул сержанту, крепко пожал руку Светлому. Светлый чуть улыбнулся:

– Утро доброе.

Зор натянул резиновую перчатку, присел рядом с трупом и приподнял его, касаясь плеча.

– Эге, – громким басом выдал Зор, осмотрев спину.

– Да, – подтвердил Светлый.

– Третий.

– Третий, – кивнул Светлый.

– Богатенький экспонат, – продекларировал Зор, с сожалением глядя на свои промокишие чищенные ботинки. Он стянул перчатку и рассеянно положил её в задний карман брюк.

– Чего мятый такой? – спросил Зор, вытащив пачку сигарет и протянув Светлому, угощая.

– Надо по церквям запросить, узнать, кто зимой пропал, – задумчиво пробормотал Светлый, выуживая сигарету, – да местных поспрашивать.

– Не учи учёного, – флегматично сказал Зор.

Подошёл сержант. С деланным видом закурил, будто на равных. Зор раздражённо гаркнул на него:

– Ну, где эти эксперты, а?

Запах весенней сырости сменился стылостью тёмной комнаты. Нарастая, дверной звонок требовал ответа. Я, моргая от недавнего яркого солнца, лёгкого ветра с морозцем, иду открывать дверь.

На пороге Илья и Бурый. Бурый – молодой редактор телеканала, звезда, сошедшая из интернета в область телевидения. С ним мы знакомы смутно, но давно. Оба входят ко мне домой блицкригом, разбредаются по комнатам, наводят суматоху.

– Неделю от тебя сплошное игнорирование. Работаешь? – спрашивает Илья, ковыряясь в моём холодильнике и выуживая оттуда брикеты с йогуртом.

– Творю, – коротко отвечаю я, стараясь осознать действительность, отвлечься от идиотов, дающих показания, и отогнать от себя трупно-болотный запах.

На секунду оформляется мысль, что сцена создаваемая – это цикличное, застрявшее с давних пор воспоминание. Оно абсолютно не видоизменяемое, но могущее быть интерпретировано остальными различно и даже не так глупо, как это выглядит в моей голове. В моей голове вся сцена с обнаружением трупа – это когда карикатурные герои старого фильма (навязчивый, из детства) о полицейских (они будто вырезаны из бумаги), наложенные на примитивную картинку пологого берега в снегу (рисунок бумажной новогодней открытки). Опять же – воспоминание об открытке – навязчиво и из детства. Так неужели любое творение – есть детская, перемоло-

тая годами жизни, сублимация-синестезия? Полицейские и открытка очень глупо выглядят в моей голове, неестественно, как плохой коллаж.

Это – первейший препон в деле передачи истории: я удивляюсь тому, что такой идиотски-выблядски-плохой коллаж можно выставить на всеобщее обозрение.

Но надо помнить: набор сэмплов воображения тебя и *их* – различен и многообразен. Это надо осознать и принять. Плюнуть на то, что эти картинки портят и отравляют своей карикатурностью замысел работы. Плюнуть на то, что работа – (а ты убедишься в очередной раз) не избавит от картин/картинок всей твоей синестезии. Как бы тебе ни хотелось. Как бы ты не молил всё что угодно.

Просто прими на веру: каждый расшифрует/выявит эпизоды твоей истории наиболее приятным для себя способом.

Пусть схема выявления – одиозна и маловариативна.

Илья протягивает мне бутылку воды.

Бурый наигрывает на пианино что-то воодушевляющее, жеманно, с клоунадой, изображая маэстро в экстазе. Илья выключает проектор, транслирующий плохое старое кино о сыщиках. Он выключает нудную музыку, играющую в полтона, делает Бурому жест «перестань», критично смотрит на мои черновики с зарисовками:

– Рувер, садись, нас ожидает плотный график. Деньги будем зарабатывать.

Я сажусь на стул. Илья и Бурый, будто дознаватели на до-

просе встают передо мной и принимаются динамично излагать свои планы, касательно новых шоу. Один зачинает, второй молчит. Первый затыкается, второй продолжает. Коллаборации! Новые форматы! Миллионы денег! Интереснейшие выпуски! Ремейки! Реконструкции!

Я пересчитываю в голове свои денежные запасы и понимаю – эти двое вовремя.

– ...личная жэ! – восклицает Бурый, взмахнув рукой, очертив в воздухе радугу. – Исповедь! Такая судьба! Вам и не снилось!

– Сигареты у вас есть? – спрашиваю я.

– Есть немного интересного, – вдруг озадачивает меня Бурый, протягивая мне два «интересного».

– Не подсаживай на эту хрень молодой неокрепший ум, – нравоучительно встречает Илья. Пусть и будто беззаботно, но я ощущаю, как Илья напрягся.

– Не учи учёного, – ворчу я, хватая одно из двух и употребляя на язык.

Бурый прикидывает ещё скоп странных, взбалмышных идей. Ходит по комнате, останавливается у моей доски и издевается над моими таблицами, накидывает фантасмогоричных сценариев постановок с элементами мистики. Тут же предлагает создать нечто серьёзное, связанное с психикой и тяжёлой жизнью. Постепенно я отрешаюсь от этого потока идей Бурого. Илье звонят на телефон, он громко переговаривается, повторяя слово «сценарий». После этого он спеш-

но показывает Бурому на часы, тычет в меня пальцем и ёмко говорит с нажимом: «По делу».

Я жду изменений реальности.

Передо мной на столе возникает миниатюрный, из спичек и картона, макет католического собора. К собору подъезжает старый полицейский фургон (металлическая игрушка), из него выходят двое (да, они вырезаны из бумаги) и проходят ускоренной анимацией в широкие высокие двери.

Рядом с собором, как в пластилиновых мультфильмах, из поверхности стола появляется детализированный макет мечети, с высокого минарета которой заторможенно падает в стол нечто в белом, подвешенное на леску.

Илья протягивает откуда-то незримо издалека исписанную бумагу. Словно рука господня пробила облако и явилась мне:

– Твоё расписание. Прошу, будь доступен, бери трубку, хо-ро-шо?..

Его «Хо-ро-шо» смазывается, обретает странный полый объём. Вся комната изгибается в это его «Хо-ро-шо. Я прошу Бурого открыть шторы. Он открывает их медленно, будто пьяная обкуренная бабочка раздвигает крылья. Комната наполняется жирным блестящим светом. Потолок растягивается дугой, пол проваливается куда-то вбок и в сторону.

Главное (принять и осознать): я просто/прочно сижу на одном месте.

И волноваться не о чем.

Стены сжимаются, вся комната резко «выдыхает», мне становится страшно за сострадательного Илью и за бесноватого Бурого. Их ведь может натурально сплющить и они исчезнут с этими своими проектами и деньгами. Но я смиряюсь – у меня будет больше времени поработать. А деньги – как-нибудь потом.

Я смотрю в окно – там огромный глаз Читателя. Проходя мимо, Он останавливается и решает посмотреть, как продвигаются мои дела. Я смотрю на стол. На нём в циклическом повторе – падает тощая фигурка в белом с башенки минарета. У католического собора раскрывается крыша и внутри лежит тряпичная, в папском одеянии, кукла. «Янос, думать только о себе это ведь в порядке человеческой природы и в природном порядке вещей, правда?», – пищит кукла, моргая своими пластмассовыми глазёнками.

Комната наполняется трупным запахом.

Я ощущаю решимость и невысказанную злобу отчаявшегося убийцы. Я чувствую, как он бежит по тёмному парку. Как холодный воздух обжигает его внутри. Как перед ним бежит тот, кого следует догнать. Как необходимо через символ и решаемые загадки передать то, чего другие не хотят понять своими глупыми мозгами. Но только, что именно они не могут понять? Я раскрываю свой рот так широко, что мои челюсти образуют угол в 180 градусов, это приносит чудовищную боль, от которой я слепну.

Жирный блестящий свет.

Он вдруг резко пропадает по причине...

– ...а почему именно эта надпись? – спрашивает меня Илья, проворачивая в воздухе тонкой женской рукой.

Он говорит мне в правое ухо.

Я сижу на диване, на площадке ток-шоу. Нет зрителей, нет операторов, нет редакторов, ассистентов. Пустая студийная площадка. Только я, петличка микрофона на моей рубашке и это странное существо: симбиоз Ильи и Майер.

Пересыхает во рту.

Это неправильно.

– Потому что для эээ... Атеиста это является правдой... – говорю я, покрываясь липкой испариной.

– Но зачем... Её писать? – воображаемым шёпотом спрашивает Бурый, появляясь рядом со мной на диване слева.

– Это... – ток крови бьёт по моим мозгам, всё сильнее, с каждым толчком сердца, суживая сознание. – Это вызов, это крик.

– Интересно... – шепчет возникший на месте камеры-один художник с пирсингом в носу.

– Не обращай внима-внимания, – профессиональной скороговоркой бормочет Илья-Майер, – этот педик зарисовывает прямой эфир. Такая у него ра-бо-та.

Бурый кладёт мне свою ладонь на плечо и притягивает к себе, будто отбирая у Ильи-Майер. Касание пахнет масляными красками. Голосом розового цвета Бурый сообщает мне в левое ухо:

– Он подсматривал, как ты трахаешь его жену.

Я обнимаю Эву, такую приятную, такую родную.

Податливую, отзывчивую моим жадным ласкам.

Я чувствую, как бьётся её сердце. Я не могу надышаться её сладостным запахом. Я целую её точёное лицо, трогаю её волосы, мну её ладони, сжимаю её грудь, трогаю её бёдра, трогаю, трогаю, трогаю её всю.

Это одна из наших последних встреч. Мне не хочется терять её, хоть я и понимаю, что никогда и не обладал ею полностью.

Мы лежим в полной тишине, обнявшись, без движения.

Молча.

Через долгое время она шепчет мне прямо в ухо, приятным шёпотом, касаясь своими мягкими губами:

– Мне так с тобой... Спокойно...

11. Я открываю глаза

Я открываю глаза. Отрываю приклеенный ко лбу сиреневый квадратный стикер. На нём напоминание, что съёмки у Бурого начнутся уже через неделю (ДД:ММ:ГГГГ ЧЧ:ММ). На нём также размашисто уверенное: «заряди телефон».

Хочется пить. Но сил встать нет. Их хватает на просто лежать, распластавшись и листая ленты социальных сетей на почти разряженном телефоне. Возникает искреннее ощущение, что я сейчас умру. Я пишу Эве, воодушевлённый таким ощущением: «Ты здесь надолго?».

Она, прочитав спустя бесконечность, молчит.

Светлый, в прокуренном кабинете, стоя перед доской на стене, отчётливо вспомнил прошлое лето. Душное, отвратительно жаркое. Издевающееся своим сухим зноем, плавящее мозг в неработоспособную кашу.

Тощий священнослужитель в белом, насаженный нижней челюстью на металлический полумесяц одного из мазаров, был обнаружен на мусульманском кладбище. На спине разорванная одежда. На ней, ужасающая своей странным символизмом, надпись, сделанная ножом: «Gott ist tot». Открытый перелом ноги – торчащий кусок кости, в полтела – гематома. Священнослужитель перед убийством был сброшен с высоты.

В памяти всплыли обрывочные лоскуты воспоминаний: потёки тёмной крови на жёлтом кирпиче мазара, ссохшиеся, впитавшиеся. Жужжание мух. Санитар, споткнувшийся о камень на земле и нелепо упавший на повисший, как рыба на крючке, труп. Труп резко дёрнулся в сторону, и показалось, что челюсть не выдержит, оторвётся. Склеенные кровью монеты. Вой свидетелей обнаруживших и вызвавших полицию – они всей обширной семьёй приехали на похороны своего родственника в старом автобусе. Мулла, что должен был читать на этих похоронах, побледневший, чуть не потерявший сознание. Неприятная вонь. Высокая жухлая трава. Липкая паутина среди узких проходов. Облезлая краска на металлических оградах. Унылые бесцветные лица на надгробных камнях.

Пока работала группа, Светлый прошёл вглубь кладбищенского лабиринта. Он закурил, присев на скамейку у одного из земляных холмов. Курить здесь казалось чем-то недозволенным, хотя именно здесь это наиболее обосновано.

– Чего расслаживаешься? – спросил Зор, сдвигая ногами длинные сорняки, выныривая из прохода.

– Ты как меня нашёл? – спросил Светлый, гася окурок и аккуратно положив его под скамейку.

– Курево за километр несёт. Бросай. Чё думаешь?

– Я сообщил, чтобы пикапы, фургонь тормозили, осматривали. Легковые подозрительные. Крови много. Но это так, наудачу. Опросил этих, – Светлый махнул в сторону

еле различимого воя, – не знают ничего. А мулла сказал, что наш мученик в маленькой мечети, у рынка, работает. Или служит? Я сержанта послал с ребятами, в отделение привезут кого там, на месте, найдут.

– Хорошо, – почесал нос Зор, – тут это. Группу предупреди, чтобы пока никому. Шума будет: ай-яй-яй. Я свидетелям втолковал.

– Группу и сержанта я предупредил, – Светлый посмотрел на Зору.

– Залётный?

– Скорее всего. Не знаю. Но дело весёлое.

Светлый читал объяснительные. Открытые нараспашку окна не спасали от душного горячего воздуха. В кабинет вошёл Зор. Он заглянул в каморку, где сидели задержанные, подошёл к Светлому:

– Ты зачем их вместе посадил?

– Чё старший говорит?

– Требуется результата. Там семья убитого шум поднимает, новости уже прознали. Ну, через семью, конечно. Потихоньку начинается. Нам пару экспертов на помощь пришлют столичных. Может, вообще себе дело заберут, если резонанс поднимется.

– Да ну, брось. Надпись только, а так – такой же труп, – Светлый отложил объяснительные, пододвинув их Зору, – я думал, что им нельзя семью заводить.

– Он же тебе не Папа Римский.

– Там двое, – Светлый показал на каморку, – дети-сироты, молокососы. Результата они тебе не дадут. Они что-то типа учеников, жили, помогали там. Сегодня утром только они там были. Пишут, что наш клиент пошёл утром рупор чинить на минарете. Потом прозвучала молитва. Потом они его не видели – спать пошли. А наши к ним приехали – увидели пятно на земле кровавое.

– Совсем никакого результата? – потёр подбородок Зор.

– Вряд ли. Ну, скинуть, ну, добить на земле. Зачем им его тащить куда-то. Да и на чём. Это нужен поделщик какой-нибудь. Хотя... Там помимо них ещё трое работают. Или служат. Как правильно? Не в этом дело. Надпись зачем вырезать, на крюк насаживать, в рот монеты пихать?

– Как раз таки, – кивнул Зор, мощным шлепком открывая дверь каморки, – как раз.

– Голубки-пидоры, колоться будем? – спокойно спросил Зор двух молокососов. Оба сидели за привинченным к полу столом. Один, лет шестнадцати – обритый под ноль, всё тёр красные, мокрые от слёз глаза. Второй, сидящий спокойно, чуть постарше – привстал, протянул руку.

Зор вытянул указательный палец:

– Сядь.

Молокосос сел.

Светлый, в кабинете позади еле слышно проговаривал в

трубку: «Всех троих вези».

– Машину мы нашли, – продолжал Зор, – извозчик ваш всё нам рассказал. Теперь. Если вы расскажете как есть, всё будет хорошо. Нет – нет.

В каморку вошёл Светлый, играя в руках наручниками. Он пристегнул молчащих, оторопелых, ошалевших молокососов каждого к ножкам стола. Первый, помладше – заплакал в голос. Зор дал ему подзатыльник. Плач прекратился.

Чутьё подсказывало Светлому: это не они. Это убийство сотворил самый настоящий, как по учебнику, маньяк. Светлый стоял у двери, скрестив руки и отрешённо смотрел, как Зор, входя в рабочий азарт, бьёт наотмашь растопыренной кистью то одного молокососа, то второго. Те пытались увернуться, закрыться, что-то лепетали, но Зор, не слушая, молча продолжал отвешивать звонкие оплеухи.

На самом деле не важно, они это или нет. Потому как, опасаясь резонанса, будет предоставлен мгновенный, такой удобный, Результат. Последующее (а оно, вероятнее всего, случится) убийство будет объявлено подражанием, подхватом идеи. Ну и опять же, а вдруг это всё-таки они?

– Упорно утверждают, что наставник был хорошим человеком, – Зор раскатывал рукава рубашки, – дня два пусть посидят ещё, может, что вспомнят.

– У него во рту, в глотке, пищеводе, монет насобирали. На сумму минимального в этом году пожертвования, –

Светлый показал снимок с аккуратно разложенными монетами.

– Минимальная такса пожертвования?

Светлый развёл руками:

– Каждый год устанавливается минимальная сумма пожертвований.

Зор налил себе из чайника воды:

– А у этих троих, которых привезли – алиби. Хорошее. Проверю, конечно.

– Проверь, конечно. – Светлый задумчиво почесал подбородок.

– Знаешь, даже если это какой-нибудь маньяк, они с ним точно в сговоре. Вот увидишь. Никому верить нельзя.

– Тогда они очень тупые ублюдки. Их свои же братья-мусульмане на лапшу порежут ещё до суда. Способ найдут, – Светлый прилепил на пустую доску фотографию с монетами, фотографию убитого муллы, фотографии всех допрошенных.

– Но... Их надо будет отпустить. Приставим кого-нибудь понаблюдать. – Зор потянулся. – Через два дня. Я к старшему, посмотрим, что он сочинит.

Второй труп – иссушенное, белесо-волосатое тело католического священника обнаружили осенью.

Священник лежал голый в своём строго обставленном кабинете. На тёмном ковре, в нелепой позе, раскрыв руки и изо-

гнув кренделем ноги. Над головой, в форме дуги, были выложены голые тряпичные куклы. На шее – глубокий след. В задний проход, на приличную глубину вставлено металлическое распятие. На спине – та же, что и у пары месяцев ранее обнаруженном мулле, надпись: «Gott ist tot». Жутко воняла впитавшаяся в ковёр моча с подсохшими кусками дерьма. Раскрытое высокое окно не спасало: сегодняшней день, полный солнца, был безветрен.

Одежда священника, пропитанная кровью, комом лежала в углу.

Тяжёлый стол был сдвинут в угоду широкого формата инсталляции перформанса.

В этот раз маньяк (Светлый прозвал его «Атеист»), действовал не спеша. Никто ничего не слышал. К священнику убийца пришёл через вторую дверь, ведущую во двор. То есть – напрямую с парка, где стоял собор. В парке множество слепых от общественных камер зон. В котором мало свидетелей.

Монахини участливо отвечали на вопросы Зора. Зор, горой нависнув над ними, кивал головой. Вокруг копошились сотрудники: снимали отпечатки пальцев, искали волоски, рассматривали на ковре следы. С овчаркой на поводке прошли кинологи. Эксперты из столицы были тоже тут как тут.

Светлый сел в старый полицейский фургон. Он вдруг вспомнил испуганные глаза своих детей вчера вечером. В тот момент он этого не заметил, а сейчас мозг услужливо

подсунул это затёртое воспоминание. Дети сидели на диване, обняв колени, не обращая внимания на цветастый мультфильм по телевизору. Они с ужасом смотрели на Светлого, своего папу, когда тот вышел из комнаты, где плакала их мама.

Светлый с силой сжимал челюсти, тяжело дыша.

– Я говорю правду, – тихо ответила его жена, – я шла домой, зашла в подъезд, а... Я...

Она заплакала. Навзрыд, закрывая рот руками, суматошно всхлипывая. Её тонкие белые руки дрожали. Тряслись взлохмаченные волосы. В ванной комнате всхлипывания усиливались неприятным эхом.

Из вентиляционной решётки раздался соседский лай.

Светлый резко встал, дёрнул дверь, выходя из ванной. Дети подняли на него свои испуганные глаза. Светлый сорвал с крюка вешалки куртку, мимоходом, проверяя, коснулся кобуры, сунул ноги в туфли, выбежал в подъезд.

«Успеть догнать. Самому. Кончить ублюдка. Потом допросить соседей».

Страсти по Атеисту не утихали до конца зимы.

Появлялись теории, одна конспирологичней и бредовой другой. Сообщалось о стычках между конфессиями как в форме дебатов, так и откровенно на физическом уровне между обычными верующими. Появлялись энтузиасты,

«помогающие», выпускающие свои «расследования». Полиции досаждали СМИ, мусоля тему профессиональной импотенции. Однажды, не сдержавшись, Светлый накинулся на одного из журналистов, схватил его за грудки, и воскликнул, что в месяц раскрывает по десятку убийств, о которых никто не трубит.

И вот, зима кончилась. Страсти вроде как поулеглись. Наступила весна. Свежий ветер с запахом чего-то незримо нового будоражил по утрам. Солнце, восстающее всё раньше и раньше светило всё ярче и теплее. И от Атеиста – тишина.

Светлый с Зором зимой мрачно предположили, что убийства, скорее всего, будут по одному на каждое время года. И это всё-таки оказалось правдой: жирный православный священник, обвешанный золотом и утопленный в местном водохранилище, был убит зимой. Священник давно жил один и был на своеобразной «пенсии»: писал книгу, редко куда выходил, мало общался с бывшими «коллегами».

Светлый прицепил на доску фотографию утопленника, отошёл на несколько шагов назад и закурил, скрестив руки. Докурив, Светлый вытащил из кармана перстень и тщательно принялся рассматривать его внутренний обод на свет лампочки.

В кабинет заглянул сержант. На его тёмном лице очень контрастировали ярко-синие глаза. Он спросил:

– Домой не пойдёте?

– Пошёл вон, – вяло ответил ему Светлый, сжав в кулаке перстень.

Сержант пожал плечами и закрыл дверь.

Светлый походил по комнате, апатично взглянул на доску, подошёл к телефону и набрал номер. Трубку взяла тёща. Тёща вежливо попросила больше не звонить и детей к телефону не позвала, сославшись, на то, что они уже спят. Светлый положил трубку. Достал кошелёк, раскрыл его: несколько монет и одна мятая купюра.

Надо было дежурство попросить. Домой не хотелось. Слишком там пусто, в этом ненужном одиноком доме с его тёмными комнатами. С его тупоголовыми, ничего не слышащими, лающими соседями. Светлый вышел в пустынный коридор участка, сунул монеты в кофе-аппарат. Внутри аппарата загудело, в отверстие выпал стаканчик, наполняемый горячим тёмным напитком.

Светлый вернулся в кабинет, запер дверь, выпил кофе. Сбросив туфли, укрывшись курткой, он лёг на обшарпанный диван и закрыл глаза.

Во сне он долго бежал по тёмным, неприветливым дворам. Неприятного бежевого цвета прямоугольники окон глядели на него с жалостью, с презрением. А Светлый всё бежал, пачкаясь в рыхлой подмерзающей грязи, крича, выискивая. Светлый видел в проходе широкую спину ублюдка, который надругался над его женой. Светлый бежал в этот проход, но ублюдок уже был в другом конце двора и нырял

в другой тёмный проход, отстукивая каблуками спешный шаг. Светлый всё бежал и бежал. И никак не мог догнать.

Светлый засыпал.

Ему было холодно.

12. Я, я, я

Я стою посреди банковского хранилища без штанов. На полу разбросаны в беспорядке мои черновики с пометками вперемешку с нарисованными денежными купюрами. Я смотрю на полки хранилища у стены. На них, подобно золотым слиткам, лежат книги. Кипы различных томов: от ветхих рваных до блестящих новеньких, опьяняюще пахнущих, будто они только из типографии. От классики и до современной литературы. Обернувшись, я вижу большой круглый проём и распахнутую настежь толстую дверь. В коридоре, на расставленных в ряд стульях, сидят: Афина зевающая; Илья делающий; Бурый шепчущий; Художник вожделенный. За ними, в тени, ещё несколько рядов, на которых сидят фигуры с расплывчатыми лицами. Они похлопывают, переговариваются, посмеиваются, показывают на меня пальцами друг другу, переворачивают программки, включают свои телефоны, звонят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.